

## Предисловие автора

Читатели романа «Jean-Christophe»\*, вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня.

Готовил я иные произведения — драму и роман на современные темы, в несколько мрачном духе «Jean-Christophe». Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне.

Оно как бы порыв свободы, после десятилетней неволи в броне «Jean-Christophe», которая, хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном галльском веселии, да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, с нивернейской Бургундией, и разбудил в душе целое

\* «Жан-Кристоф» (опубл. 1904–1912), десяти томный роман Р. Роллана, названный Набоковым в «Лолите» (1955) посредственным.

прошлое, уснувшее, думал я, навеки, — всех Николок Персигов, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить. Проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей! Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать (они часто мечтали о ней!), чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся:

— Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить. Теперь мой черед!

Они возражали:

— Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти... Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика! После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем... Самое-то горькое в смерти — это, видишь ли, молчание...

Что поделаешь? Пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне кончено, и вот я снова свободен (по крайней мере, я так полагаю). Примусь опять за прерванную нить собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы воспоминания свои передать потомству.

Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть, в ней есть круглота, прямота, не норовит она изменить или объяснить мир, ни политики, ни метафизики в ней нет, это книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что лю-

бит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская дева (не обойтись без ее имени в заголовке галльского рассказа), друзья, «prenez en gré»\*, — не взыщите.

*Май 1914 г.*

- \* Примите с покорностью (*фр.*). Жанна Д'Арк поведала своим судьям перед казнью, что слышала голоса святых, сказавших ей: «Prends tout en gré» («Принимай все как есть»).

## Жаворонок в Сретенье

2 февраля

Слава тебе, святой Мартын! Дела не идут. Не стоит из сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей. Пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа — кружка вина, слева — чернильница; тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объятия. За здоровье твое, дружок, — и давай побеседуем! Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе — зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой, толстячок! (Тебе говорю, тебе, — рожа радужная, любопытная, рожа веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская...) Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, — отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и, как из пьяных бочек моих (да ну их!), без передышки тянуть, в погребке сердца, вино старое

воспоминаний? Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем грезишь, — зачем! Грезить, — сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтанья! Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал... Не безумье ли это? Для кого я пишу? Уж конечно, пишу не для славы; я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу! Для кого же? Для внуков своих? Но пройдет десять лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, — что находит она, то сжигает. Для кого же, ответь наконец? Ну так вот: для себя! Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сблевуул. Говорить, говорить я хочу, а в своем городке, на ристаньях словесных, не могу развернуться как следует. Все я высказать должен, — и подобен я в том брадобрею Мидаса \*. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избегнуть костра. Но что же поделаешь! Будешь бояться всего — задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые волы, —

\* Имеется в виду греческий миф о царя Мидасе, который был судьей на музыкальном состязании Аполлона с Паном и признал первого побежденным. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царю приходилось прятать под фригийской шапкой. Цирюльник Мидаса, мучаясь тайной, которой ни с кем не мог поделиться, вырыл ямку в земле и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» — и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, который прошепестел о тайне всему свету.

пережевывать вечером пищу дневную. Как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, приметил, подумал; как приятно облизывать, долго вкушать (так, чтоб таяла сладость на языке), смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету! Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни Папа, ни враг. Ни даже старуха моя брюзжащая.

Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире.

Во-первых: самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, — он, Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, — и хоть юности не первой (что таить — шестой десяток!) — крепче дуба, целы зубы, взор — что свежая плотва, — и, сидя потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что, будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился, не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на двадцать или тридцать лет, — я с отвращением бы отвернулся. Но все же целых десять пятисвечников — прекрасная вещь!

Смейтесь, смейтесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать, — в продолжение полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще... Боже! Как в спину нас жалили, друже, и зной и дожди! Нас природа то печь принималась, то мыть... И пекла же, и мыла же. Я — старый, смуглый мешок; чего

только в него не совал я! На, выложи: горести, радости; тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт; солома и сено; виноградные гроздья и смоквы; много сладких плодов и немало зеленых; розы и плевелы; тысяча разных вещей, виденных, читанных, впитанных, — и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы... Стой! Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не dokonчу рассказа... Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына четыре и дочь одна (слава Богу, замужем она), — один зять (нельзя было его не взять!), восемнадцать внучат, серый осел, пес, шесть кур да свинья. Вот как я богат! Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети — все так, но от дальнейшего осталось только воспоминанье. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, — чорт\* возьми — осталась она, осталась! Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье: она моя, моя, красавица эта, я — единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец! Тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите; отдаю, берите! Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная — словом, все ка-

\* В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов «чорт», «Мэдон», «Клямси» и др.); слова «стклянка», «шеколадный», «конфекты» приведены к современному написанию.

чества есть (только нечего есть, а я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям, вместе взятым, предпочитаю один пухленький порок... Впрочем, за неимением лучшего — будем добродетельны, так Бог велит). Ай, как она мечется, руками машет — Маша, угловатая наша! Весь дом наполняет телом своим долговязым, рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой! Вот уже скоро тридцать лет, как мы вместе. Чорт его знает, — отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому, как две капли водки выедают сталь.

Она любила меня, любила любовью погибельной. Измученный этими преследованиями (как глупы мужчины!), быть может, из жалости, быть может, из гордости, но пуще всего потому, что был утомлен, решил я (подшутил, верно, бес), чтоб от этих нападок отделаться, решил я (как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду полез) жениться на ней и — женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо! Мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей. Но она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь — я молчу. Гром ли гремит — свищу. Когда же кри-

чит она — хохочу. И отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина — там и шум; а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою: каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот (она хорошо знает, как это дорого стоит). Ей же я позволяю щебетать. У каждого свои ноты.

Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещей: одну дочь и четырех сыновей. Все они крепкие, гибкие: труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфе, я узнаю сущность свою. Ах, ах, прыгунья! Сколько понадобилось мне терпенья, чтоб до берега брака ее довести без крушенья. Наконец-то! Теперь-то она успокоилась, — и хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь Флоридор; пеки, опекай!.. Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка; даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность, она честная, прямая — в ней качества эти улыбчивы, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она не боится невзгод: невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь — отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже, то кровь моя в ней говорит... Только, пожалуй, я расщочителен был, сотворяя ее.

Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое — ханжи, и, к довершению всего, ханжество одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров, второй — гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят! Третий — бродяга-солдат, где-то скигается, где-то воюет, в точности где — я не знаю. А четвертый — ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этаким торговый человечек, серенький, с душой овечьей, — ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим вшестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мненьях сходятся все. Это прекрасное зрелище: искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток, вливается.

Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона — ленивой, илистой, зеленой речки, — у входа в предместье, за мостом, что стоит, словно на четвереньках, над самой тиной. Напротив — башня св. Мартына, легкая, гордая, в платьице кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые и черные, ведущие, скажешь ты, в рай. Лачужка моя, игрушка, стоит вне стен городских: а потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хотя я и люблю побеседовать, однако

сдается мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверью. По возвращении случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: Тупоголовый! Ты работаешь на врага, Брось лачужку свою, под защиту стен залезь. —

Я ж в ответ:

Куралесь! Хорошо мне и здесь. Знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной — что увижу я? Стену, и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах, жить хочу королем на речном берегу своем, там работать беспечно; а после работ из садика долго следить вырезной хоровод отражений цветных на поверхности вод, и порою кружки — рыбы плевки, да кудрявые травы, что дышат на дне; в этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать: хорошо ли, плохо ли, — а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно — хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжение вечности всей. Но, клянусь, коль засяду куда-нибудь, не легко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и десять раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня. Но в десять раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом — краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены: нет. Нет, предпочитаю жить здесь.